

УДК 792.075(470)  
ББК 85.334.3(2)6-8  
Л36

ISBN 978-5-7516-1538-3

© М. Левитин, 2019

© Издательство «Текст», 2019

*Эти повести, в разное время напечатанные в журнале «Октябрь», смело можно назвать припрятыми, если понимать «припрятое» как особо дорогое авторскому сердцу.*



## СОЗДАНИЕ ФОНА

Фон пишется до того, как возникает герой, а если он пририсовывается к герою, значит, картина плохая, нуждается в помощи фона.

Самое главное — второстепенное, в тот момент малозначащее, то, чему внимание не придается, но именно оно вытолкнет главное на поверхность.

### ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ ФОН, НАДО ЗАБЫТЬ СЕБЯ

Быт условен — герои подлинны. Быт — главное, герои как получатся. По-разному складывается надежда на чудо.

Как улегся огород между заборами, вытянувшись, чтобы никому не мешать, с деревянным сортиром вместо изголовья. Долговязые подсолнухи над огородом. Почему подсолнухи всегда про любовь?

Лысеющий кукурузный початок с забросом пряди редких золотых волос, чтобы скрыть плешь.

Чернигов. Город, преданный мной, город — купол. Сарай на дворе как накрененная лодка, оттуда выплывает все живое — свиньи, куры, корова, коза. Нет, коза живет отдельно при дворнике, бренчит колокольчиком на пустыре.

Детство кажется тихим. Они прислушиваются к тебе в сарае, молчат, одна корова страстно вздохнула за спинами остальных. Почему — тихо?

Рано потому что, и никаких догадок о своей участи — накормят, пошадят, забьют? Как давно я связан с животными, не задумываясь об этом. Яда крестьянства нет в моей крови.

Вот бабушка неуверенно разворачивает полотно с пластом сала, оно пожелтело за зиму — буду есть, не буду?

Зима — это время без Чернигова, когда меня здесь не было, сало пожелтело, и потому оно во много раз вкуснее молодого. Так я думаю, разглядывая угол пласта в крупинках соли. Но бабушка по-прежнему не уверена, она — экспериментатор, режет тонко, заливает яйцами. Завтрак. Позорный завтрак пионера, забывшего, что полмира голодает.

Как я жался к стене храма на Валу, а священник, взглядевшись в меня, окропил меня венчиком, из-за черноты похожим на металлический, венчик он окунал в ведро за ним идущего монаха. Я помню, как взгляделся пристально, а потом засмеялся и взмахнул, не пожалев воды.

Это попытка вернуть свежесть утра на Валу, обрамленном пушечками, развернутыми в сторону шведов, а я, нехристь, втираюсь в побеленную стену храма, стараясь остаться незамеченным.

Вернуть свежесть утра с огородами и притихшими животными. Вернуть бессонницу на Валу, бессонницу крестного хода, куда меня привела бабушкина домработница, я стою на самом краю Вала, а священник и подручный с ведром и метелкой висят передо мной почти в воздухе, пытаюсь окропить, не пожалев воды.

Захлебываюсь воспоминаниями о жизни, будто выбираюсь из темной ямы на поверхность. Вот и весь сюжет. Туда, к себе! Но я помню мало. Не запоминаю, щедро делюсь с теми, кто лишен воспоминаний. Дальше, дальше!

Что дальше? В сухой астраханской кильке траву помню. Килька выпадала из щелей в ящиках. Просыпавшаяся килька. Во дворе была контора ОРСа, дедушка — начальник, и нам завозили ее грузовиками. Она не прельщала даже кошек. Они рассматривали кильку с недоверием.

Ее требовалось собрать, и дедушкины работницы, большие, раскованные, какие-то лопатообразные с широко растопыренными руками и ногами бабы, склонялись над травой, собирая.

Почему-то они казались мне неприступными в своих огромных фартуках, обязательно темными. Особенно темными в пятнах солнца из ванной комнаты и кухни, когда стояли в передней, протягивая бабушке вниз головой висящих потрошенных уток.

Кого звали Тиной — домработницу или одну из дедушкиных подручных?

Вот дедушка вошел, огромный, рыжеватый, всегда слегка раздраженный, что его не встречают толпы и оркестр. Дедушка нес в себе дух загула, дух вольницы, его следовало бояться, а хотелось подражать, хотелось так же разметаться во сне, как он на диване с раскрытой в полную ширь газетой, оставшейся непрочитанной, упавшей ему на лицо. И конечно, храпу, который он пытался укротить во сне. Надо было только отвернуться к стене.

И он это делал, отворачивался, чтобы когда-нибудь на том же диване в той же позе умереть. Вот кто не хотел даже примерять смерть, она была не к лицу ему. Не ее он искал, потеряв молодую любимую жену, найдя вторую, нелюбимую, родив от первой двух дочерей, от второй — сына, отвоевав и привезя с войны еще одну семью, походно-полевую, и все-таки застрявший здесь в этом доме со своими высокомерными доченьками, не желающими ничего менять, особенно старшей, любимой, моей мамой, написавшей ему, что, если он не вер-

нется домой, больше никогда их не увидит. И вот он вернулся, чтобы через двадцать лет умереть на этом самом диване.

Прости, дед, что я не был так смел, как ты, но видит Бог, я пытался всеми фибрами души, всеми силенками постичь свободу, доступную тебе. Я пытался закрыть пробоину, возникшую после твоего ухода, я пытался, но что там у меня получилось, знаешь теперь только ты. Я побаивался тебя, вероятно догадываясь, что мне предстоит. Ты даже ни разу не говорил со мной больше минуты. И даже в эту минуту ты был недоволен мной, как единственным недостойным наследником своего разгула.

Я приехал хоронить деда февральской ночью, впервые зимой в незнакомый мне Чернигов со свечой в конце улицы. Она неподвижно стояла в угловом окне второго этажа нашей квартиры. Там ждал меня дед, раскинувшись на диване, синяя-синяя морозная черниговская, полная недоверия ночь, в которой, изменив себе, перекидывались короткими репликами куры, свиньи, и коза брэнчала колокольчиком, умоляя его снять. Стояли темные бабы во дворе, когда я вошел, и водители не снимали большого пальца с гашеток грузовиков, чтобы нажать, когда утром начнут выносить деда.

Патетичная, торжественная жизнь, столько лет кажушаяся мне смешной, прежде всего смешной.

Нельзя создать фон, он запорошит глаза, все затмит. Дед — Чернигов — кукурузный початок — диван — шмат сала, уплывающая безбрежность жизни. Но и здесь я собираю неправильно, произвольно, а жизнь не хочет выстраиваться по моей команде, ей нужна свобода без знаков препинания. О, литературный мальчик с ограниченными возможностями, бедный, бедный, неугомонный.

Да, я забыл. Это дед схватил меня за вихры в Десне, когда я уже почти скрылся в водовороте, а потом гнал меня к берегу, нещадно ругая, забыл.

Если я напишу, как ослеп кабан Борька, — хлев разделили перегородкой, и свинья Машка бросалась на перегородку всем телом, пробиваясь к своему любимому, — мне скажут, что я за пределы скотного двора никогда не выходил. Как серенькую, мою любимую, закормленную мной курочку зарезали втайне от меня в обратный путь, и не забыли, когда я раскрыл фольгу в поезде, проголодавшись, сказать, что это она, именно она, чтобы я не чувствовал себя одиноким по дороге домой и вспоминал Чернигов. Винить их не в чем. Прежде всего они хотели меня накормить, и обязательно самым мной любимым.

Мы сидели под брезентом во дворе, смотрели на найденный нами аккумулятор, лужицы воды на его сохранившей пятна масла поверхности, и не зная, что это аккумулятор давно безнадежный, списанный, говорили о том, — куда и на чем мы поедем, владея таким аккумулятором, и о многом другом. Светка Моршнева, Сережа Багно и я.

— Как вы думаете? — спросил я, прислушиваясь к тому, что происходит в хлеву. — Если бы бабушка ослеп, его бы тоже отделили от бабушки, чтобы потом убить?

— Но это же свиньи, — возразила Света, — а мы люди...

— Я люблю свиней, — сказал Сережа. — Особенно шкварки люблю.

Он был очень рослый и глупый мальчик. Он умел съезжать на отцовском ремне по перилам лестницы. Мне очень жаль, что больше я его не встречал и не встречу. Родился в офицерской семье и с детства знал, что станет офицером.

Когда я приезжал, им овладевал какой-то постоянный восторг передо мной и желание меня видеть. Большая круглая цвета соломы голова. Он вставал очень рано, чтобы успеть прийти на двор и ходить со мной рядом, пока я кормлю кур.



— Ты с ними как с голубями, — удивлялся Сережа. — Неужели ты их отличаешь?

Мне захотелось сказать: «Отличаешь же ты Свету Моршневу от других девочек», но я промолчал.

— Смотри, — сказал Сережка, — ты все серенькую от других отличаешь. Смотри, перекормишь.

И оказался прав.

Мой фон зарезан и изжарен, в своих воспоминаниях я не уверен, можно было воспользоваться чужими. Моль сожрала воспоминания. Откуда столько важной печали, будто никого, кроме меня, нет на земле?

Я помню расстояние между мной и дедом, когда тонул. Я успел измерить его взглядом перед тем, как быть всосанным в зеленую бутылку водоворота.

Резко менялась жизнь, когда ты шел к реке и делал первый шаг по легкому песку, он был как-то издевательски неестественно легкий, струился между пальцами, подразнивая кожу, он был необязателен, как бы и не был, но я его помню, я к нему готовился, он был чем-то вроде щекотки, назойливой и неприятной. От неудобства соприкосновения с ним нельзя было избавиться. Граница города при подходе к реке определялась этим песком. Дальше возникала сама река как другая жизнь. Десна.

Я люблю небольшие, помещенные в футляр жизни реки. С виду они невинны, как младенцы. Но это притворство. Они полыхают изнутри светом коварства. Ты видишь их из-под полуприкрытых век узкой полоской.

Река свернулась на солнце. Она ничем не угрожает. Мирная-мирная. На дне раковины, перламутровые изнутри, огромные. Ты ныряешь за ними, чего не стоило делать, они сами готовы к прыжку и режут тебе ладонь до крови.

Лежать на берегу, сгребая песок поближе к телу, — все равно что собирать пыль вокруг себя. Только

когда он встречается с водой и становится грязью, ты можешь его разглядеть.

Между пальцев у меня песок, он сушит кожу до трещин и мешает мне жить целый день. С какой-то определенной черты начинается царство речного песка. По дороге, не доходя к бабушкиной кожевенной фабрике. Вот не знаю, имею ли право туда зайти. Там охрана в пристройке. Ты никогда не поймешь, как в таком небрежно сколоченном ящике можно жить. Жарко. Охранники договариваются друг с другом, кому когда бежать окунуться.

Меня здесь знают. Моя бабушка Эсфирь Александровна — главбух. Вокруг нее заместительницы. Одна с толстыми косами, уложенными на голове кренделем. Ее зовут Оксана. По слухам, она любовница деда. Бабушка, морщась, передает ей бумаги, не поднимая глаз.

У каждой из помощниц по арифмометру. Даже ничтожно малое количество цифр арифмометр превращает в результат. Он набирает цифры, заложенные тобой, и выстреливает. Ты вздрагиваешь как от удара, тупо глядя на общую сумму, ты не понимаешь, как это делается. Простым умножением или делением, складыванием или вычитанием. Это как бы внутри тебя — тошнотворный удар арифмометра. В момент действия ты с ним одно. Организм готовится к удару. Там есть какое-то лишнее непостижимое движение, внутри машинки. Увидеть его ты не можешь, но понимаешь, что оно есть, потому что удар сворачивает скулу. Арифмометры почему-то стоят на подоконниках, к ним следует обернуться и тогда можно взглянуть в окно, а оно всегда выходит на стену самой фабрики, отделенной от бухгалтерии узкой полосой солнца.

Там на кожевенной фабрике я видел, как работник пытается вскочить на вырвавшуюся свинью и добить ее ножом, ткнув под ухо. Свинья визжит и разбирается на любопытствующих зрителей потоки крови.

Сторож пьян и самонадеян. Он тычет в нее куда попало, не давая ей умереть самой, истечь кровью. Он не может ни вскочить, ни убить, ни укротить, ничего не может. Нога его в коричневой штанине и сапоге соскальзывает. Лицо окровавлено. Он сосредоточен на мысли, как будет объясняться с начальством. А свинья бежит и бежит мимо нас, припадая к земле, и я убегаю к бабушке, не дожидаясь развязки.

Кожевенная фабрика — это следы разбойного нападения, зловония, следы убийства, в ожидании следователя, который не придет, потому что за все отвечает Эсфирь Александровна, моя бабушка. Ей можно доверять. Она спокойная и опрятная. Она способна объяснить все. Перед ней на бумаге выколоченные из арифмометра цифры.

Я люблю, когда каждую субботу в наш дом приходит пожилой господин и приносит бабушке цветы из собственного сада. Он не здоровается с дедом и отказывается пройти на кухню, чтобы выпить с бабушкой стакан чая. Вручает букет и все.

— И чего он ходит? — грозно восклицает дед. — Я спущу его с лестницы.

Но не спускает, и тот возвращается каждую субботу, чтобы принести бабушке новый букет. Он — поклонник бабушкиной красоты, вот так.

Не пора ли переменить воду, как в аквариуме? А то все Чернигов, Чернигов! А где Одесса?

Как обнаружить Одессу из-под Чернигова, Чернигов из-под Одессы?

Чисто-чисто стоят в памяти эти города, соразмерно. Надо им соответствовать.

Под копытами Богдана Хмельницкого в сквере его же имени сидел я, не поднимая глаз. Я не любил памятники, хотя на самом деле их немного. Они возникают неожиданно, будто собака наложила кучу. Про них приходилось расспрашивать. И тут выяснялось, что никто ничего не знает. Памятники — и все.

Куда значительней фигурка слепого, движущегося за пределами сквера. Куда он направлялся, не зная, что я наблюдаю за ним? В парикмахерскую? Там, кажется, на противоположной стороне стояла парикмахерская.

Слепой идет стричься, да, да, это я помню. Он беден и вихраст. Вихры падают на глаза и мешают.

Постригшись, он перестанет быть слепым и не найдет собственного дома. Я доведу его, расспрашивая, держа прозревшего слепого за локоть.

Никаких событий. Все очень ровно. Детство тянется передо мной, как лента. Остаются только незнакомые слова — Богдан Хмельницкий, Щорс, кинотеатр имени Щорса. Они выпадают из фона и попадают туда, где мусор.

Городской юродивый мальчик со шрамом на бритом черепе бежит по ступенькам вверх к экрану во время сеанса, когда на экране возникает изобилие, и царапает экран ногтями, пытаюсь собрать в горсти виноград, вишни, абрикосы.

Сами зрители выталкивают его из зала и продолжают смотреть красивую жизнь.

А еще вода из лягушек за углом от кинотеатра. Они выплевывают струйки в центр фонтана, а мы, взбравшись на парапет, пытаемся поймать одну из струек, обняв облупившуюся лягушку, будто целуя ее.

Жарко. Но где-то ждет тебя компот и чей-то покой. Может быть, бабушкиной сестры, Софьи Александровны. Она была маленькая, ладная, голубо-серая, одетая в пепел, который, поминутно курая, стряхивает отведенной рукой в элегантный бумажный кулечек. В юности за ней ухаживал сам Александр Довженко. Она работала на кинофабрике секретарем-машинисткой. И все ей, казалось, хочется рассказать о многом, но она сдерживает себя так сильно, что это придает ее элегантному облику прелесть и таинственность.